



3. Н. ГИППИУС

Задумчивый странник О Розанове

«Странник, только странник, везде только странник...»

«Иду. Иду. Иду... Даже “несет”, а не иду. Что-то “стихийное, а не человеческое”».

«Во мне есть чудовищное: это моя задумчивость».

В. Розанов, «Уединенное»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Василий Васильевич Розанов

Что еще писать о Розанове?

Он сам о себе написал.

И так написал, как никто до него не мог, и после него не сможет, потому что...

Очень много «потому что». Но вот главное: потому что он был до такой степени не в ряду других людей, до такой степени стоял не между ними, а около них, что его скорее можно назвать «явлением», нежели «человеком». И уж никак не «писателем», — что он за писатель! Писанье, или, по его слову, «выговаривание», было у него просто функцией. Организм дышит, и делает это дело необыкновенно хорошо, точно и постоянно. Так Розанов писал, — «выговаривал» — все, что ощущал, и все, что в себе видел, а глядел он в себя постоянно, пристально.

Писанье у писателя — сложный процесс. Самое удачное писанье все-таки *приблизительно*. То есть между ощущением (или

мыслью) самими по себе и потом этим же ощущением, переданным в слове, — всегда есть расстояние. У Розанова нет: хорошо, плохо — но то самое, оно, само движение души.

«Всякое движение души у меня сопровождается *выговариванием*», отмечает Розанов и прибавляет просто: «Это — инстинкт». Хотя и знает, что он не как все, но не всегда понимает, в чем дело. И, сравнивая себя с другими, то ужасается, то хочет сделать вид, что ему «наплевать». И отлично, мол, и пусть, и ничего скрывать не желаю. «Нравственность? Даже не знал никогда, через “ѣ” или через “е” это слово пишется».

Отсюда упреки в цинизме. Справедливые — и глубоко несправедливые, ибо прилагать к Розанову общечеловеческие мерки и обычные требования по меньшей степени неразумно. Он есть редкая ценность, но, чтобы увидеть это, надо переменить точку зрения. Иначе ценность явления пропадает, и Розанов делается прав, говоря: «Я не нужен, ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен». Он, кроме своего «я», пребывал еще где-то около себя, на нем самом неведомых глубинах.

«Иногда чувствую чудовищное в себе. И это чудовищное — моя задумчивость. Тогда в круг ее очерченности ничто не входит.

Я каменный.

А камень — чудовище...

...В задумчивости я ничего не мог делать.

И с другой стороны все мог делать (“Грех”).

Потом грустил: но было уже поздно. Она съела меня и все вокруг меня».

Но, конечно, соприсутствовало в Розанове и «человеческое». Он говорит и о нем с волшебным даром точности воплощения в слова. Он — явление, да, но все же человеческое явление.

Объяснить это далее — бесцельно. Розанова можно таким почувствовать, вслушиваясь в его «выговаривание», всматриваясь в его «рукописную душу». Но можно не почувствовать. И уже тогда никакие объяснения не помогут: Розанов действительно делается «не нужен».

Я буду, помня об этой, ясной для меня, розановской исключительности, говорить, однако, о нем — человеке, о том, каким он был, как он жил, об условиях, в которых мы встречались. Иногда буду прибегать к самому Розанову, к его записям о себе, — ведь равных по точности слов не найдешь.

Больше я ничего не могу сделать.

Жаль, нет у меня здесь ни писем его, ни ранних, ни предсмертных. И даже из книг его (воистину «рукописных»), как он

любил их называть) всего лишь две: «Уединенное» и I том «Опавших листвьев».

2 Весной

Зеленовато-темным апрельским вечером мы возвращаемся в первый раз от Розанова, по дощатым тротуарам глухой Петербургской стороны. Розанов жил тогда (в 1897 или 98?¹) на Павловской улице, в крошечном домике.

Только что прошел дождь, разорванные черные облака еще плыли над головой, доски и земля были влажны, и остро пахли весной едва распустившиеся тополевые листья, молодые (так остро пахнут они только в России, только на севере).

— Да... Вот весна... Весна! — сказал Философов (он тоже был с нами у Розанова, и еще кто-то был).

Мы все думали молча о весне и потому не удивились.

— Весна. «Клейкие листочки»... А что же вы скажете о Розанове?

И заговорили о Розанове.

Решительно не помню, кто нас с ним познакомил². Может быть, молодой философ Шперк (скоро умерший). Но слышали мы о нем давно. Любопытный человек, писатель, занимается вопросом брака. Интересуется, в связи с этим вопросом (о браке и деторождении), еврейством. Бывший учитель в провинции (как Сологуб).

У себя, вечером, на Павловской улице, он показался нам действительно любопытным. Невзрачный, но роста среднего, широковатый, в очках, худощавый, суетливый, не то застенчивый, не то смелый. Говорил быстро, скользяще, не громко, с особенной манерой, которая всему, чего бы он ни касался, придавала интимность. Делала каким-то... шепотным. С «вопросами» он фамильярничал, рассказывал о них «своими словами» (уж подлинно «своими», самыми близкими, точными, и потому не особенно привычными. Так же, как писал).

В узенькой гостиной нам подавала чай его жена, бледная, молодая, незаметная. У нее был тогда грудной ребенок (второй, кажется). Девочка лет 8–9, падчерица Розанова³, с подтянутыми гребенкой бесцветными волосами, косилась и дичилась в уголку.

Была в доме бедность. Такая невидная, чистенькая бедность, недостача, стеснение. Розанов тогда служил в контроле. И сразу понималось, что это нелепость.

Ведь вот, и наружность, пожалуй, чиновничья, «мизерабельная» (сколько он об этой мизерабельной своей наружности говорил, писал, горевал), — а какой это, к черту, контрольный чиновник? Просто никуда.

Не знаю, каким он был учителем (что-то рассказывал), — но, думается, тоже никуда.

3

Всегда наедине

Кажется, с 1900 г., если не раньше, Розанов сближается с литературно-эстетической средой в Петербурге. Примкнул к этой струе? Отнюдь нет. Он внутренне «неклоняемый». Но ласков, мил, интересен — и понемногу становится желанным гостем везде, особенно у так называемых «эстетов». Дружит с кружком «Мира искусства», быстро тогда расцветшего.

И к нам захаживает Розанов постоянно. Между прочим, нас соединял и молодой соловьевец Перцов, большой поклонник Розанова. Перцов — фигура довольно любопытная. Провинциал, человек упрямый, замкнутый, сдержанный (особенно замкнутый потому, может быть, что глухой), он был чуток ко вся кому нарождающемуся течению и обладал недюжинным философским умом. Сам, как писатель, довольно слабый, — преданно и понятливо любил литературу, понимал искусство.

Как они дружили, — интимнейший, даже интимничающий со всеми и везде Розанов и неподвижный, деревянный Перцов? Непонятно, однако, дружили. Розанов набегал на него, как ласковая волна: «Голубчик, голубчик, да что это, право! Ну как вам в любви объясняться? Ведь это тихонечко говорится на ушко шепотом, а вы-то и не услышите. Нельзя же кричать такие вещи на весь дом».

Перцов глуховато посмеивался в светло-желтые падающие усы свои, — не сердился, не отвечал.

С другим человеком, еще более сдержанным, каменным (если Перцов был деревянный), вышло однажды у Розанова, в редакции «Мира искусства», не так ладно.

Постоянное «ядро» редакции, тесно сплоченный дружеский кружок, были: Дягилев, Философов, Бенуа, Бакст, Нувель⁴ и Нурук (умерший)⁵. Около них завивалось еще множество людей, близких и далеких. По средам в редакции бывали собрания, хотя и не очень людные: приглашали туда с выбором. Розанову эта «нелюдность» нравилась. Он, впрочем, везде был немножко один, или с кем-нибудь «наедине», то с тем — то с

другим, и не удаляясь, притом, с ним никуда: но такая уж у него была манера. Или никого не видел, или, в каждый момент, видел кого-нибудь одного, и к нему обращался.

Ни малейшей угрюмости: веселый, даже шаловливый, чуть рассеянный взгляд сквозь очки, и вид — самый общительный.

В столовой «Мира искусства», за чаем, вдруг привязался к Сологубу, с обычной каменностью молчашему.

Между Сологубом и Розановым близости не было. Даже в расцвете розановских «воскресений», когда на Шпалерную ходили решительно все (вот уж без выбора-то!), — Сологуба я там не помню.

Но для коренной розановской интимности все были равны. И Розанов привязался к Сологубу.

— Что это, голубчик, что это вы сидите так, ни словечка ни с кем. Что это за декадентство. Смотрю на вас — и, право, нахожу, что вы не человек, а кирпич в сюртуке!

Случилось, что в это время все молчали. Сологуб тоже помолчал, затем произнес, монотонно, холодно и явственно:

— А я нахожу, что вы грубы.

Розанов осекся. Это он-то, ласковый, нежный, — груб! И, однако, была тут и правда какая-то: пожалуй, и груб.

Инцидент сейчас же смазали и замяли, а Розанов, конечно, не научился интимничать с выбором: интимность была у него природная, неизлечимая, особенная — и прелестная, и противная.

4

Наименее рожденный

Вот, сидит утром в нашей маленькой столовой, в доме Мурзузи, на Литейном⁶, — трясет ногой (другую подогнул под себя) и что-то пишет на большом листе — меленько-меленько, непонятно, — если не привыкнуть к его почерку. Старается все уместить на одной странице, не любит переворачивать.

Это он забежал с каким-то спешным делом, по Религиозно-философским собраниям, что-то нужно кому-то ответить, возвратить, или к докладу заседания что-то прибавить... все равно.

Сапоги у него с голенищами (рыжеватыми), с толстыми носами. Брюки широкие, серенькие в полоску. Курит все время — набивные папиросы, со слепыми концами. (По воскресеньям, за длинным чайным столом, у себя, где столько всякого народу, набивает их сам. Сидит на конце стола, спиной к окнам, и тоже подогнув ногу.)

Давно присмотрелись мы к его лицу, и ничего уже в нем «мизерабельного» не находим. Кустиками рыжевато-белокурая бородка, лицо ровно-красноватое... А глаза вдруг такие живые и плутовские — и задумчивые, что становится весело.

Но Розанов все не может успокоиться и часто повторяет:

— Ведь мог бы я быть красив! Так вот нет: учителишка и учителишка.

Потом он это написал (в «Уединенном»).

«Неестественно-отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом простоявал перед зеркалом...» «Сколько тайных слез украдкой пролил. Лицо красное. Волоса... торчат кверху... какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо и как я не видал ни у кого. Помадил я их. и все — не лежат. Потом домой приду, и опять зеркало: "Ну, кто такого противного полюбит? Просто ужас брал"». «... В душе думал: женщина меня никогда не полюбит, никакая. Что же останется? Уходить в себя, жить с собою, для себя (не эгоистически, а духовно), для будущего...»

Он прибавляет, однако, что «теперь» это все «стало ему даже нравиться»: и что «Розанов» так «отвратительно», и что «всегда любил худую, заношенную, пронощенную одежду».

«Да просто я не имею формы... Какой-то "комок" или "мочалка". Но это от того, что я весь — дух. Субъективное развито во мне бесконечно, как я не знаю ни у кого. «И отлично»... «Я "наименее рожденный человек", как бы "еще лежу (комком) в утробе матери" и "слушаю райские напевы" (вечно как бы слышу музыку, моя особенность). И "отлично! Совсем отлично!" На кой черт мне "интересная физиономия" или еще "новое платье", когда я сам (в себе, в комке) бесконечно интересен, а по душе — бесконечно стар, опытен и вместе юн, как совершенный ребенок... Хорошо! Совсем хорошо!..»

С блестящей точностью у Розанова «выговаривается» (записывается) каждый данный момент. Пишет он — как говорит: в любой строке его голос, его говор, спешный, шепотный, интимный. И открытость полная — всем, т. е. никому.

Писать Розанов мог всегда, во всякой обстановке, во всяком положении, — никто и ничто ему не мешало. И всегда писал одинаково. Это ведь не «работа» для него: просто жизнь, дыхание.

Розанов уже не в контроле, он на жалованье в редакции «Нового времени». Печатает там время от времени коротенькие, яркие полуфельетончики. Суворин издает его книги. Старик Суворин, этот крупный русский нигилист, или, вернее, «je m'en fiche-ист»⁷ очень был чуток к талантливости, обожал «талант». Как некогда Чехову — он протянул руку помощи Розанову, не

заботясь, насколько Розанов «нововременец». Или, может быть, понимая, что Розанов все равно ни к какой газете, ни к какому такому делу прилипнуть не может, будет везде писать свое и о своем, не считаясь с окружением. В редакции его всерьез не принимали, далеко не все печатали, но иногда пользовались его способностью написать что-нибудь на данную тему вот сейчас, мгновенно, не сходя с места, — и написать прекрасно. Ну, по-чиркают «розановщину», и живет.

Мы все держались в стороне от «Нового времени». Но Розанову его «суворинство» инстинктивно прощалось: очень уж было ясно, что он не «ихний» (ничей): просто «детишкам на молочишко», чего он сам, с удовольствием, не скрывал. Детишек у него в это время было уже трое или четверо.

Так называемые розановские «вопросы», — то, что в нем, главным образом, жило, всегда его держало, все проявления его окрашивало, — было шире и всякого эстетизма и уж, очевидно, шире всяких «политик». Определяется оно двумя словами, но в розановской душе оба понятия, совершенно необычно сливались и жили в единстве. Это Бог и пол.

Шел ли Розанов от Бога к полу? Или от пола к Богу? Нет, Бог и пол были для него, — скажу грубо, — одной печкой, от которой он всегда танцевал. И, конечно, вопрос «о Боге» делался благодаря этому совсем новым, розановским, вопрос о поле — тоже. Последний «вопрос» и вообще-то, для всех, пребывал тогда в стыдливой тени или загоне. Как же могло яркое вынесение его на свет Божий не взбудоражить, по-разному, самые разные круги?

Пожалуй, не круги — а «кружки». Ведь и «эстетизм», и другие петербургские, едва намечавшиеся, течения — были только кружки. Да в Розанове самом сидела такая «домашность», «самодельность», что трудно и вообразить его влияние на какие-нибудь «круги».

5

Духовные отцы

В область розановского интереса очень трепетно входил вопрос о «церкви». И не только потому, что жена его, духовного происхождения и вдова священника, была крепко и просто верующей православной. Нет, с вопросом о церкви Розанов был связан собственными внутренними нитями. Вопрос этот окрашивался для него в свой цвет — благодаря его отношению к христианству и Христу.

Однако мысль Религиозно-философских собраний зародилась не на Шпалерной (у Розанова), а в наших литературно-эстетических кружках. Они тогда стали раскалываться. Чистая эстетика уже не удовлетворяла. Давно велись новые споры и беседы. И захотелось эти домашние споры расширить, — стены раздвинуть.

В сущности, для петербургской интеллигенции и вопрос-то религиозный вставал впервые, был непривычен, а в связи с церковным — тем более. Мир духовенства был для нас новый, неведомый мир. Мы смеялись: ведь Невский, у Николаевского вокзала, разделен железным занавесом. Что там, за ним, на пути к лавре? Не знаем. Но нельзя же рассуждать о церкви, не имея понятия о ее представителях. Надо постараться поднять железный занавес.

Кто-нибудь напишет впоследствии историю первых Р[<]елигиозно[>]-ф[<]илософских[>] собраний. Тяжелого все это стоило труда. Об открытом обществе и думать было нечего. Хоть бы добиться разрешения в частном порядке.

К мысли о Собраниях Розанов сразу отнесся очень горячо. У него в доме уже водились кое-какие священники, из простеных. Знакомства эти пришли кстати. Понемногу наметилась дорожка за плотный занавес.

Однако в предварительных обсуждениях плана действий Розанов мало участвовал. Никуда не годился там, где нужны были практические соображения и своего рода тактика. С ним вообще следовало быть осторожным. Он не понимал, органически, никакого «секрета», и невинно выбалтывал все не только жене, но даже кому попадется. (С ним, интимнейшим, меньше всего можно было интимничать.)

Поэтому ему просто говорили: вот, теперь мы идем к такому-то или туда-то, просить о том-то. Брали его с собой, и он шел, и был, по наитию, очень мил и полезен.

Наконец собрания, получастные, были разрешены. Железный занавес поднялся. Да еще как! Председатель — еп. Сергий Финляндский, тогда ректор Духовной Академии⁸; вице-председатель — арх. Сергий, ректор семинарии⁹, злой, красивый монах с белыми руками в кольцах. Все это с благословления митрополита Антония и с молчаливого и выжидающего попустительства Победоносцева. Главный наш козырь был «сближение интеллигенции с церковью». Тут очень помогло нам тщеславие пронырливого, неглупого, но грубого мужичонки Скворцова, чиновника при Победоносцеве¹⁰. Миссионер, известный своей жестокостью, он, в сущности, был добродушен, и в тщеславии сво-

ем, желании попасть «в хорошее общество», — прекомичен. Понравилась ему мысль «сближения церкви с интеллигенцией» чрезвычайно. Стал даже мечтать о превращении своего «Миссионерского обозрения» в настоящий «журнал».

Каюсь, мы нередко потешались над ним, посылали в этот «журнал» разные письма под самыми прозрачными псевдонимами, чуть ли не героев Достоевского или Лермонтова. Невинный Скворцов не замечал и с гордостью письма печатал. На собраниях же мы ему спуску не давали, припоминая его миссионерские похождения.

Скворцов, конечно, сделался приятелем Розанова. У Розанова закипели его «воскресения», превратились в маленькие религиозно-философские собрания. На неделе собирались и у нас.

Странно, однако: весь этот мир «из-за железного занавеса», духовный, церковный, повлекся, припал главным образом к Розанову. Чувствовал себя уютнее с ним. А ведь Розанов считался первым «еретиком», и даже весьма опасным. Чуть ли не начались Собрания его докладом о браке и поле, самым «снабженческим», и прения длились подряд три вечера.

А раз было следующее.

Розанов на Собраниях не только не произносил речей, но и рот редко раскрывал. Какие «речи», когда ни одного доклада своего, написанного, он не мог прочесть вслух. Другие читали. Ответы на возражения тоже писал заранее к следующему разу, а читал опять кто-нибудь за него.

Раз попросил он прочесть такое возражение, странички 2–3, молодого приват-доцента Духовной Академии — А. В. Карташева¹¹. Карташев тогда впервые появился в Петербурге — из-за «железного занавеса у Николаевского вокзала», из иного мира, вместе со всей «духовной» молодежью. Кстати сказать: в этих «выходцах» многое изумляло нас, — такие они были иные по быту, по культуре. Но изумительнее всего оказался их упрямый... рационализм. Вот тебе и «духовная» молодежь!

Очень помню, как однажды мы с Карташевым сидели, подежурству, у дверей залы Собраний — принимали запись входящих членов. Заседание началось, двери заперли. Мы, около полуторного столика, тихо разговаривали. Острый профиль молодого Карташева напоминал в те времена профиль Гоголя в последние годы жизни.

— Верю ли? Если бы верить, как в детстве... Но нет... рацио... рацио... — шептал он, приседая.

Так вот, Карташев, на просьбу Розанова прочесть вслух его странички возражения (весьма невинные), согласился. Прочел.

На другой же день был призван к митрополиту Антонию и получил от этого, сравнительно мягкого и «либерального» иерарха, самый грубый выговор. Хотел было оправдаться, — я, мол, только «одолжил Розанову свой голос», но его не дослушали:

— Чтобы — впредь — этого — не было.

И Карташев ушел, если не ошпаренный — то лишь потому, что привык: держали их там в строгости и в повиновении удивительном.

Да, опасным «еретиком» был Розанов в глазах высшей православной иерархии. Почему же все-таки духовенство, церковники, сближались с ним как-то легче, проще, чем с кем бы то ни было из интеллигентов, ходили к нему охотнее, держали себя по-приятельски?

6

Усердный еретик

«Православие» видело «еретичество» Розанова, и просто «безбожием» не затруднялось его называть. В глубины не смотрело.

Что ему, что этот «безбожник» говорит:

«...Я мог бы отказаться от даров, от литературы, от будущности своего я... слишком мог бы... Но от Бога я никогда не мог бы отказаться. Бог есть самое “теплое” для меня.

С Богом никогда не скучно и не холодно.

В конце концов Бог моя жизнь.

Я только живу для Него, через Него. Вне Бога — меня нет».

И еще:

«Выньте из самого существа мира молитву, сделайте, чтобы язык мой, ум мой разучился словам ее, самому делу ее, существу ее, — чтобы я этого *не мог*; и я с выпущенными глазами и ужасным воем выбежал бы из дома, и бежал, бежал, пока не упал. Без молитвы совершенно нельзя жить... Без молитвы — безумие и ужас.

Но все это понимается, когда плачется... А кто не плачет, не плакал — как ему это объяснить?»

Или еще:

«Боже, Боже, зачем Ты забыл меня? Разве Ты не знаешь, что всякий раз, как Ты забываешь меня, — я теряюсь?»

Самое «еретичество» Розанова исходило из его религиозной любви к Божьему миру, из религиозного его вкуса к миру, ко всей плоти. Но кто это понимал из православных, как мог по-

нять, да и на что ему было нужно? Лишь редкие чувствовали. Например, исключительной глубины и прелести человек — священник Устинский¹² (он жил в Новгороде, изредка приезжал в Петербург), да, может быть, Тернавцев¹³, тогда молодой и независимый. Итальянская кровь давала ему большую силу жизни. Весь он был неистовый, бурный и казался очень талантливым.

Ну, а другие «церковники» — приятельствовали с Розановым, прощая резкие выпады по их адресу, вот почему: он, любя всякую плоть, обожал и плоть церкви, православие, самый его быт, все обряды и обычаи. Со вкусом он исполняет их, зовет в дом чудотворную икону и после молебна как-то пролезает подней (по старому обычаю). Все делает с усердием и умилением.

За это-то усердие и «душевность» Розанова к нему и благоволили отцы. А «еретичество»... да, конечно, однако ничего: только бы построже хранить от него себя и овец своих.

7 Собрания

В первый же год Р.-ф. собрания стали быстро разрастаться, хотя попасть в число членов было нелегко, а «гости» вовсе не допускались.

Неглубокая зала Географического общества, с громадной и страшной статуей Будды в углу (ее в вечера Собраний чем-то закутывали от «сблазна»), — никогда, вероятно, не видела такого смешения «языков», если не племен. Тут и архиереи, — вплоть до мохнатого льва Иннокентия¹⁴, и архимандриты, до аскетического Феофана (впоследствии содействовавшего внедрению Распутина во дворец)¹⁵, и до высокого, грубого молодца в поярковой шляпе — Антонина (теперешнего «живца»)¹⁶. Тут же и эстеты, весь «Мир искусства» до Дягилева. Студенты светские, студенты духовные, дамы всяких возрастов и, наконец, самые заправские интеллигенты, держащиеся с опаской, но и с любопытством.

Во время перерыва вся эта толпа гудела в музее и толкалась в крошечной комнате сзади, где подавали чай.

Розанов непременно прятался в уголке, и непременно там кто-нибудь один его заслонял, с кем он интимничал.

Секретарем Собраний был рекомендованный Тернавцевым приятель его — Ефим Е_{<горов>}¹⁷.

— Ефим — пес, — говорил на своем образном языке, с хохотом «кудрявый Валентин». — Лучше и не выдумать секретаря. Это, я вам скажу, у-ди-ви-тельный человек. Ни в Бога, ни в черта не верит. Либерал-шестидесятник. Пес и пес, конечно, но и ловкий!

Действительно, Ефим оказался полезен. Двери Собрания стояли, как настоящий «пес». Следил за отчетами. И сразу сдружился с «попами». Особенно же с архимандритом Антонином. Вместе шатались они по трактирам, где Ефим непременно заказывал себе кушанье постное, Антонин же непременно скромное; вместе забегали к нам; если Антонин «опозднялся» в городе, то у Ефима и заночевывал.

С лаврской духовной цензурой Ефим тоже завел дружбу, что было ценно, особенно когда начался наш журнал «Новый путь».

Но о журнале потом. Здесь отмечаю лишь это любопытное приятельство «ни в Бога, ни в черта не верующего» нашего секретаря с духовными отцами. Насчет «либерализма» — вряд ли заветы 60-х годов были в нем особенно крепки. Он через несколько лет поступил по рекомендации Розанова в «Новое время», где прижился и, благодаря знанию языков, до конца оставался заведующим иностранным отделом.

Не могу не вспомнить здесь о «предании» более свежем, но «которому верится с трудом». Ведь в Англию, во время войны, ездила в виде «представителей русской печати» такая неподобная тройка: Чуковский, затем этот самый бывший «пес» из «Нового времени», и купленный ныне, «для сраму», большевиками — Ал. Толстой. Жаль, что Василевского не-Букву¹⁸ не прихватили. Была бы полнота «представительства».

8

Тяжелая старуха

Летом 1902 г. мы ездили за Волгу, в г. Семенов. Оттуда с двумя нижегородскими священниками, — на раскольничью собеседование за Керженец, к Светлому озеру («Китеж-град»)¹⁹.

На возвратном пути мы зашли, в Нижнем, с прощальным визитом к одному из наших спутников, о. Николаю, громкому, шумному, буйному батюшке, до хрипоты спорившему на Озере со староверами.

Провинциальные «духовные» дамы скромны и стесняются «столичных гостей». Редко где попадья не убегала от нас и не пряталась, высыпая чай в «гостиную». Молодежь поразвязнее, и у отца Николая, после бегства матушки с роем еще каких-то женщин, в гостиной осталась занимать нас молоденькая поповна.

О. Николай, еще хрипя, разглагольствовал о чудотворных иконах, а поповна показывала мне альбомы.

Показывала и объясняла: вот это тетенька... Вот это о. Никодим, дядя. Вот это знакомый наш, из Костромы...

Вижу большую фотографию: сидит на стуле, по старинному прямо, в очень пышном платье, оборками кругом раскинутом, седая, совсем белая, толстая старуха. В плоеном чепчике, губы сжаты, злыми глазами смотрит на нас.

— А это кто? — спрашиваю.

— А это наша знакомая. Жена одного писателя петербургского. Ее фамилия Розанова.

— Как Розанова? Какая жена Розанова? Василия Васильевича?

— Ну да, жена Василия Васильевича. Ее сейчас в нашем городе нет. Она в Крыму давно. А домик ее наискосок от нашего. С балкона видать.

— Покажите мне.

Выходим с поповной на угловой балкончик. Внизу булочная, и громадный золотой крендель тихо поскрипывает над железными перилами балкона, слегка заслоняя теплую, пыльную Варварскую улицу, вымощенную круглыми, как арбузы, булыжниками.

— Видите, прямо переулок идет, так вот слева второй домик, серенький, это и есть Розановой дом, где она жила.

— А фотография ее... давно снята? Она такая старая?

— Да, она уже совсем старая. Ну, ведь, и он, кажется, не молодой.

Хочу возразить, что Розанов «против нее — ребенок», как говорят за Волгой, но поповна продолжает:

— Она очень злая. Такая злая, прямо ужас. Ни с кем не может жить, с мужем давно не живет. Взяла себе, наконец, воспитанницу. Ну, хорошо. Так можете себе представить, воспитанница утопилась. Страшный характер.

Мы вернулись в гостиную. И долго еще, охотно, рассказывает мне про «страшный характер» поповна, пока я вглядываюсь в портрет развалины с глазами сумасшедше-злыми.

Никогда Розанов мне не сказал об этой своей жене слова с горечью, осуждением или возмущением. В полноте трагическую историю его первого брака мы знали от друзей, от Тернавцева и других. Впрочем, и сам Розанов не скрывал ничего и нередко подолгу рассказывал нам о жизни с первой женой. Но ни разу со злой, ни в то время — ни потом, в «Уединенном». А уж, кажется, мог бы. Ведь она не только, живя с ним, истерзала его, она и на всю последующую жизнь наложила свою злую лапу.

Для второй жены его, Варвары Дмитриевны, глубоко православной, брак был таинством религиозным. И то, что она «просто живет с женатым человеком», вечно мучило ее, как грех. Но

злая старуха ни за что не давала развода. Дошло до того, что к ней, во время болезни Варвары Дмитриевны, ездил Тернавцев, в Крым, надеясь уломать. Потом рассказывал, со вкусом ругаясь, как ни с чем отъехал. Чувствуя свою силу, хитрая и лукавая старуха с наглостью отвечала ему, поджав губы: «Что Бог сочтет, того человек не разлучает».

— Дьявол, а не Бог сочтет восемнадцатилетнего мальчишку с сорокалетней бабой! — возмущался Тернавцев. — Да с какой бабой! Подумайте! Любовница Достоевского! И того она в свое время доняла. Это еще при первой жене его было. Жена умерла, она, было, думала тут его на себе женить, да уж нет, дудки, он и след свой замел. Так она и просидела, Василию Васильевичу на горе.

Розанов мне шептал:

— Знаете, у меня от того времени одно осталось. После обеда я отдыхал всегда, а потом встану — и непременно лицо водой сполоснуть, умываюсь. И так осталось — умываюсь, и вода холодная со слезами теплыми на лице, вместе их чувствую. Всегда так помнится.

— Так почему же вы не бросили ее, Василий Васильевич?

— Ну-ну, как же бросить? Я не бросал ее. Всегда чувство благодарности... Ведь я был мальчишкой...

Рассказывал о неистовстве ее ревности. Подстерегала его на улице. И когда, раз, он случайно вышел вместе с какой-то учительницей, тут же, как бешеная, дала ей пощечину.

Но это что, сумасшедшая ревность. Дело нередкое. Любовница Достоевского, законная жена Розанова, была посложнее.

Ревность шла, конечно, не от любви к невзрачному ученишке, которого она не понимала и который ее не удовлетворял. Заставлять всякий день водой со слезами умываться — приятно, слов нет. Но жизнь этим не наполнишь. Старея, она делалась все похотливее, и в Москве все чаще засматривалась на студентов, товарищей молодого, но надоевшего мужа.

Кое с кем дело удавалось, а с одним, наиболее Розанову близким, — сорвалось. Авансы были отвергнуты.

Совершенно неожиданно студента этого арестовали. Розанов очень любил его. Хлопотать? Поди-ка сунься в те времена, да и кто бы послушал Розанова? Однако добился свидания. Шел, радиовался — и что же? Друг не подал руки. Не стал и разговаривать.

Дома загадка объяснилась: жена, не стесняясь, рассказала, что это она, от имени самого Розанова, написала в полицейское управление донос на его друга²¹.

Быть может, я передаю неточно какие-нибудь подробности, но не в них дело. Эту характерную историю сам Розанов мне не рассказывал. Он только, при упоминании о ней, сказал:

— Да, я так плакал...

— И все-таки не бросили ее? Как же вы, наконец, разошлись?

— Она сама уехала от меня. Ну, тут я отдохнул. И уже когда она опять захотела вернуться — я уже ни за что, нет. В другой город перевелся, только бы она не приезжала²².

И все, повторяю, без малейшего негодования, без осуждения или жалобы. С человеческой точки зрения — есть противное что-то в этом все терпящем, только плачущем муже. Но не будем смотреть на Розанова по-человечески. И каким необычным и прелестным покажется нам тогда розановское отношение к «жене», как к чему-то раз навсегда святому и непотрясаемому. «Жена» — этим все сказано, а уж какая — второй вопрос.

И ни малейшей в этом «добродетели», — таков уж Розанов органически. У него и верность, и любовь, тоже свои, особенные, розановские. О верности его мне еще придется говорить.

9

Пустота вокруг

Когда приподнялся «железный занавес», стали архиереи приезжать «в Петербург», на Собрания, — стали и мы изредка заглядывать в «иной мир», в лавру. Бывали (всегда скопом) у молодого, скромного, широколицего Сергея Финляндского, ректора Академии (какое-нибудь предварительное обсуждение доклада), и у митрополита Антония²³.

У Антония Мережковский читал «Гоголя и о. Матфея», читал там даже Минский, чуть ли не свою «Мистическую розу на груди церкви»²⁴. Он тогда (для чего?) очень кокетничал с церковью, впрочем без всякого успеха.

Розанов, конечно, не читал, как нигде не читал ничего, и, конечно, всегда присутствовал.

У Сергея было приятно: большие, пустые залы с таким полом скользким и светлым — хоть смотрись в него, с рядами архиерейских портретов по стенам. Чай пили в столовой, за длинным столом. Вкусный чай: сколько сортов всяких варений, а подавали тоненькие черные послушники.

В митрополичьих покоях не то: официальная пышность дворца, лакеи, а варенье засахаренное.

Мне частенько Розанов, если мы сидели рядом, шептал свои наблюдения: «Заметьте, заметьте...» Он видел всякую мелочь.

Раз мы вышли, уже часов в 11, поздно, из лавры, и за оградой ее заблудились. Зима, но легкая оттепель. Необозримые снежные пустыри, окружающие лавру, скользки, точно лаковые, а ухабы по чуть видной дороге — как горы. Нас человек шесть, но идем не вместе, а парами, друг за друга держимся. И все крутимся по ледяной пустыне, и все тянутся белая высокая ограда, — не знаем, куда повернуть.

Я с Розановым. Он не смущается, куда-нибудь выйдем. Без конца говорит — о своем. Он не иссякаем «наедине». С кем-нибудь наедине — ему решительно все равно. Никогда не говорит «речи», говорит «беседно», вопрошательно, но ответов не ждет и не услышал бы их. Даже вдвоем — он наедине с собою.

«...Странная черта моей психологии заключается в таком сильном ощущении *пустоты* *около себя* — *пустоты, безмолвия и небытия* *вокруг и везде*, — что я едва знаю, едва верю, едва допускаю, что мне “современничают” другие люди...»

В эту минуту мы с ним, однако, «современничали» в том, что одинаково скользили, буквально на каждом втором шагу. И он вдруг это заметил.

Я смеюсь:

— Вы меня держите, Василий Васильевич, или я вас?

— Заметьте! Мы оба скользим! Оба! И не падаем. Почему не падаем? Да потому, что мы скользим *не в одну и ту же минуту*, а в разные. Вы скользите, когда я стою, а когда я — вы не скользите, и я держусь за вас...

— Ну, вот видите. А если бы мы шли отдельно, так уж давно оба валялись бы в снегу.

— Да, да, удивительно... В разные минуты...

Но тут, занявшись этим соображением, он навел меня на такую кучу снега, что, не схвати нас кто-то третий, шедший близко сзади, мы бы полетели вниз — в одну и ту же минуту.

10

О любви

Всю жизнь Розанова мучали евреи. Всю жизнь он ходил вокруг да около них, как завороженный, прилипал к ним — отлипал от них, притягивался — отталкивался.

Не понимать, почему это так, может лишь тот, кто безнадежно не понимает Розанова.

Не забудем: Розанов жил только Богом и — миром, плотью его, полом.

«Знаете ли вы, что религия есть самое важное, самое первое, самое нужное? Кто этого не знает, мимо такого нужно просто пройти. Обойти его молчанием».

И тотчас же далее:

«Связь пола с Богом — большая, чем связь ума с Богом, чем даже связь совести с Богом»...

Евреи, в религии которых для Розанова так ощутительна была связь Бога с полом, не могли не влечь его к себе. Это притяжение — да поймут меня те, кто могут, — еще усугублялось острым и таинственным ощущением их чуждости. Розанов был не только архи-ариец, но архи-русский, весь, сплошь, до «русо пятства», до «свиньи-матушки» (его любовнейшая статья о России)²⁵. В нем жилки не было нерусской. Без выбора понес он все, хорошее и худое, — русское. И в отношении его к евреям входил элемент «полярности», т. е. опять элемент «пола», притяжение к «инакости».

Он был к евреям «страстен» и, конечно, пристрастен: он к ним «вожделел».

Влюбленный, однажды, полуушутя, в еврейку, говорил мне:
— Вот рука... а кровь у нее там какая? Вдруг — голубая?
Лиловенькая, может быть? Ну, я знаю, что красная. А все-таки не такая, как у наших...

Непривычные или грубодушные люди часто возмущались розановской «несерьезностью», сплетением пустяков с важным, и его... как бы «грязцой». Ну, конечно! И уж если на то пошло, разве выносимо вот это само: «связь Бога с полом»? Разве не «грязь» и «пол»-то весь? В крайнем случае — «неприличие», и позволительно говорить об этом лишь научным, серьезным языком, с видом профессора. Розановские «мелочи» казались «игристостью» и нечистоплотностью.

Но для Розанова не было никаких мелочей: всякая связывалась с глубочайшим и важнейшим. Еврейская «миква», еврейский религиозный обычай, для внешних неважный и непривлекательный, — его умиляла и трогала. Его потрясал всякий знак «святости» пола у евреев. А с общим убеждением, в кровь и плоть вошедшими, что «пол — грязь», — он главным образом и боролся.

Вот тут узел его отношений к христианству и ко Христу. Христос? Розанов и к нему был страстен, как к еврейству. Только все тут было диаметрально противоположно. Христос — Он свой, родной, близкий. И для Розанова было так, точно вот этот живой, любимый его чем-то ужасно и несправедливо обидел, что-то отнял у него и у всех людей, и это что-то — весь мир, его светлость и теплость. Выгнал из дома в стужу: «Будь совершен, иди, и не оглядывайся, отрекись от отца, матери, жены и детей...»

Розанов органически боялся *холода*, любил теплое, греющее.

«С Богом я всегда. С Богом мне теплее всего» — и вдруг — иди в холод, оторвись, отрекись, прокляни... Откуда это? Он не уставал бранить монашество и монахов, но, в сущности, смотрел дальше них, не думал, что «это они сделали», главного обидчика видел в Христе. Постоянно нес упрек ему в душе — упрек и страх перед собственной дерзостью.

У нас, вечером, за столом, помню его торопливые слова:

— Ну, что там, ну, ведь, не могу же я думать, нельзя же думать, что Христос был просто человек... А вот, что Он... Господи, прости! (робко перекрестился поспешным крестиком), что Он, может быть, Денница...²⁶ Спавший с неба, как молния...

Розанов, однако, гораздо более «трусил божеского наказания» за нападки на церковь, нежели за восстания против первопричины — Христа. Почему? Это просто. В христоборчестве его было столько *личной любви* ко Христу, что она властно побеждала именно страх, и превращала трусость нашалившего ребенка во что-то совсем другое.

Вот, например: тяжелая болезнь жены. Оперированная, она лежала в клинике. Розанов в это время ночевал раз у Тернавцева. И всю ночь, по словам Тернавцева, не спал, плакал и, беспрестанно вставая, молился перед иконами. Всю ночь вслух «*каялся*», что не был достаточно нежен, справедлив — к церкви, к духовенству. Не покорялся смиренно, возражал, протестовал... Вот Бог и наказывает... и он, как мальчик, шепчет строгому церковному Богу: прости, помилуй, больше не буду!

В связи с этим, в «*Уединенном*»:

«Иду в Церковь! Иду! Иду!»

И потом еще:

«Как бы я мог быть не там, где наша мамочка? И я стал опять православным».

Стал ли? Это и теперь его тайна, хотя пророческие слова исполнились:

«Конечно, я умру все-таки с Церковью... Конечно, духовенство мне все-таки всех (сословий) милее...»

Однако:

«Но среди их умирая, я все-таки умру с какой-то мукой о них».

Это борьба с «церковью».

А вот «христоборчество». Вот одно из наиболее дерзких восстаний его — книга «Темный Лик», где он пишет (точно, сильно, разговорно, как всегда), что Христос, прия, «охолодил и заморозил» мир и сердце человека, что Христос обманщик и разрушитель. Денница, — повторяет он прикрыто, т. е., Дух Темный, а не Светлый.

И что же, каётся, дрожит, просит прощения? Нисколько. Выдержки из «Темного Лика» читались при нем, на Собраниях, он составлял самые стойкие ответы на возражения. Спорил в частных беседах, защищался — Библией, Ветхим Заветом, плаценно защищался еврейством, на сторону которого всецело становился, как бы религиозно сливааясь с ним.

С одним известным поэтом, евреем, Розанов при мне чуть не поддался.

Поэт и философ, совсем не приверженный к христианству, доказывал, что в Библии нет личности и нет духа поэзии, приведшего только с христианством. Что евреи и понятия не имели о нашем чувстве *влюбленности* — в мир, в женщину и т. д. Надо было видеть Розанова, защищающего «Песнь песней», и любовь, и огонь еврейства.

Принялся упрекать поэта в измене еврейству. Тот ему ответил, что, во всяком случае, Розанов — больше еврей, чем он сам.

Этим спор окончился — Розанов внезапно замолчал.

Не потому, конечно, что заподозрил собеседника в атеизме. Атеистов, позитивистов он «презирал, ненавидел, боялся». Говорил: «Расстаюсь с ними *вечным расставанием*». Но собеседник — еврей, а еврей не может быть атеистом. *Нет*, по Розанову, антирелигиозного еврея, что бы он там про себя ни думал, ни воображал. В каждом, все равно, «Бог — насквозь». Недаром к Аврааму был зов Божий. Про себя Розанов говорил:

«Бог призвал Авраама, а я сам призвал Бога. Вот и вся разница».

И вдруг, и вдруг... словно чья-то тень — тень Распятого? — проходила между ним и евреями. Он оглядывался на нее — и пугался, но уже не феноменальным, а «ноуменальным» (любимое его слово) страхом. Вдруг — «болит душа! болит душа! бо-

лит душа!» и — потерявшись — он становится резок, почти груб... к евреям. Мне приходилось слышать его в эти минуты, но я расскажу о них его собственными словами, будет яснее.

«... Как зачавкали губами и идеалист Борух, и такая милая Ревекка Ю-на, друг нашего дома, когда прочли «Темный Лик». Тут я сказал себе: «Назад! Страхись!» (мое отношение к евреям).

Они думали, что я не вижу: но я хоть и «сплю вечно», а подглядел. Борух, соскакивая с санок, так оживленно, весело, счастливо воскликнул, как бы передавая мне тайную мысль и заражая собою:

— Ну, а все-таки — он лжец.

Я даже испугался. А Ревекка проговорила у Шуры в комнате: «Н-н-н-да... Я прочла «Темный Лик»». И такое счастье опять в губах. Точно она скучала что-то сладкое.

Таких физиологических (зрительно-осознательных) вещиц надо увидеть, чтобы опять понять то, чему мы не хотим верить в книгах, в истории, сказаниях. Действительно, есть какая-то ненависть между Ним и еврейством. И когда думаешь об этом — становится страшно. И понимаешь ноуменальное, а не феноменальное: «Распни Его».

Думают ли об этом евреи? Толпа? По крайней мере, никогда не высказываются».

Любовь к Христу, личная, верная, страстная — была куском розановской души, даже не души — всего существа его. Но была тайной для зорких глаз тайновидца: «Смотрел и не видел». Порою близко шевелилась, скрытая. Тогда он тревожился, бросался в сторону евреев и своего к ним отношения. Отрекался, пугался, сердился... Но жизнь повела его «долинами смертной тени». И любовь стала прорываться, подобно молнии. Чем дальше, тем чаще мгновения прорывов.

«...Тогда все объясняется... Тогда Осанна... Но так ли это? Впервые забрезжило в уме...»

Сами собой гасли в этих молниях вспышки ненависти к евреям. Понималась любовь — по-настоящему. И забывалась опять. Может быть, потом понялась навсегда?

11 «В своем углу»

Осенью 1902 г. мы начали с П. П. Перцовым журнал «Новый путь».

Я до сих пор не понимаю, как это вышло, что мы его начали, и даже довели без долгов до 1906 г. Он точно сам начался, — естественно вышел из Р~~елигиозно~~-ф~~илософских~~ собраний.

Денег у нас не было никаких, кроме пяти тысяч самоотверженного Перцова, да очень малой, внешней помощи издателя Пирожкова, и то лишь в самые первые месяцы. (Пирожков этот стал впоследствии знаменит процессами со своими жертвами, — обманутыми писателями, обманутыми бесцельно, ибо он и сам провалился²⁷.)

Перцову удалось получить разрешение на журнал благодаря той же приманке: «Сближение церкви с интеллигенцией». Журнал был вполне «светский» (в программе только упоминалось о вопросе «религиозном», «в духе Вл. Соловьева»), однако известно было, что издает его группа участников Собораний и что там предполагается помещать стенографические отчеты этих Собораний.

Положение журнала было исключительно трудное: каждая книга подлежала двойной цензурной трепке. Сначала шла к обыкновенному цензору, затем в лавру, к духовному. Была у нас и третья цензура, неофициальная, интеллигентская: по тем временам, если эстетика и начинала кое-как завоевывать право на существование, то религия, без разбирательства, была осуждена. И нас записали в реакционеры.

Но среди всех огорчений с деньгами, да с двумя официальными цензурами, нам буквально не было времени огорчаться еще и этим. Пусть думают, что хотят.

Все мы работали и писали без гонорара. Платили только в редких случаях какому-нибудь начинающему (и очень талантливому) из неимущих. Литературная молодежь, — все мои приятели, — помогала и работала, на нас глядя, радостно, как в своем деле. Молодые поэты (Блок, Семенов²⁸, Пяст), кроме стихов, давали, когда нужно, рецензии, заметки, отчеты. Несколько неопятных «выходцев из-за железного занавеса», — приватдоценты Духовной Академии, Карташев, Успенский²⁹ — тоже приучались к журнальной работе, но эти — в глубокой тайне, без всяких подписей, ибо, если бы узнало лаврское начальство, им бы не поздоровилось.

И нас, старых литераторов, было изрядное количество, так что в материале, совсем не плохом, недостатка не чувствовалось. Вячеслав Иванов печатал там «Религию страдающего Бога». Мережковский — свой роман «Петр и Алексей». Брюсов — ежемесячные статьи об иностранной литературе и даже... об иностранной политике.

О Розанове что и говорить. Он был нескованно рад журналу. Прежде всего — упросил, чтобы ему дали постоянное место, «на что захочет», и чтоб названо оно было «В своем углу». Кроме

того, он из книжки в книжку стал печатать свою длинную (и замечательную) работу «О юдаизме»³⁰.

Вечно торчал в редакции, отовсюду туда «забегал». В редакции жил секретарь — «пес» Ефим Е^{<горов>} (он же секретарь Собраний). Не лишенный юмора и весьма, при случае, энергичный, он и тут, как секретарь, был очень ценен. Возил в лавру к отцам-цензорам весь наш материал (не один «духовный», «светский» тоже). И, если отцы тревожились, подозревая скрытый «соблазн» в каком-нибудь стихотворении Сологуба, В. Иванова, Блока, — нес им самую беззастенчивую, но полезную чепуху. Отстаивал порою статьи довольно смелые, хотя с великими жертвами: у В. Иванова однажды везде «православие» обратилось в «католичество». А так как статья была о Вл. Соловьеве, — то можно себе представить, что получилось.

Посетителей (неизвестных) принимал тоже Ефим. И препотешно умел рассказывать об этих приемах. Никто лучше него не мог бы справиться с «авторами». Его важность, отрывистые, безапелляционные реплики хорошо действовали на слишком назойливых. Бывали и застенчивые.

— А... могу я спросить, сколько вы платите? — говорил какой-нибудь явно безнадежный обладатель явно безнадежной толстой рукописи.

Ефим не задумывался:

— А мы очень много платим... если нам понравится. Но нам редко что нравится. Лучше вы вашу рукопись отдайте в другое место.

Собственно говоря, вся редакционная работа велась Перцовым и мною. Молодежь помогала, но положиться ни на кого из них мы не смели. А Розанов не только не помогал, но если бы вздумал, мы бы в ужас пришли. Всякое дело требует своей «политики», т. е. какой-то линии, считания с моментом, с окружающими обстоятельствами и т. д. Розанов ни на что подобное не был способен. Он действительно «всегда спал». Во сне хоть и умел «подглядывать», чего никто не видел, но подглядывал лишь то, что находилось в кругу его идей, ощущений, лишь в том, что его интересовало и касалось.

Очень любил журнал. И совершенно невинно, не замечая, мог бы погубить его, дай ему волю, начни с ним советоваться, как с равным.

И так была ужасная возня. Приносит он очередной материал, главу «Юдаизма» и «Угол», бесконечные простины бумажные, меленько-меленько исписанные. В набор? Как бы не так. Мы не «Новое время» и с набором должны экономничать. Без того при-

ходится делать иногда, после светской цензуры, для духовной, — второй набор, как бы не навести «отцов» на неподобающие размышления... И вот мы с Перцовым принимаемся за чтение розановских иероглифов. Не вместе, — Перцов глух, сам читает невнятно и неохотно, — а по очереди.

Ни разу, кажется, не было, чтобы мы не наткнулись в этих писаниях на такие места, каких или цензорам нашим даже издали показать нельзя, или каких мы с Перцовым выдержать в нашем журнале не могли.

Эти места мы тщательно вычеркивали, а затем... жаловались Розанову: «Вот что делает цензура. Порядком она у вас в углу выела». Впрочем, прибавляли, для косвенного его поучения:

— Сами, голубчик, виноваты. Разве можно такое писать? Какая же это цензура выдергит?

Скажу, впрочем, что мы делали выкидки лишь самые необходимые. Перцов слишком любил Розанова и понимал его ценность, чтобы позволить себе малейшее искажение его идей.

Редактируя для журнала стенографические отчеты Собраний, мы не звука не выкидывали розановского: тут он сам за себя отвечает, пусть отвечает перед цензорами.

Сухость стенограмм порою приводила нас в отчаяние: исчезала атмосфера собраний, приподнятая и возбужденная, не передавалось настроение публики...

Чаще всего редактировали мы эти отчеты вдвоем не с Перцовым, а с Тернавцевым.

Собрание, недавнее, было еще свежо в памяти.

— Какой вздор! — говорю я. — Она (стенографистка) не дослушала. Или не поняла... Ведь тут, помните, ведь тут...

— Ну да! — кричит неистовый Валентин. — Василий Михайлович (Скворцов) сказал «совесть». А кто-то ему крикнул: «Разная бывает совесть. Бывает и сожженная совесть...» Он так и осел... Вставляйте сюда «голос из публики»!

Валентин Тернавцев был не из нашего «лагеря», но художественное чутье побеждало в нем «переводчика», и мы оба увлекались, стараясь преобразить казенную запись в образную картину Собрания.

— Здесь он — «голос из публики!» — орал Валентин. — Обязательно голос! Я слышал, толстуха промяукала, как ее, — сексты исследует, она около меня сидела. Пишите тут — из публики!

Иногда мы носили розановский доклад или возражение ему на просмотр, боясь ошибок в записи. А он возвращал — совершенно измененную вещь, почти новую статью. Что было делать?

Звали его, бралились, и он на месте, тут же, в третий раз ее переписывал.

Перцов имел привычку вдруг уезжать из Петербурга, на неопределенное, довольно продолжительное время. Глухой и скрытный, он глухо исчезал, не оставляя и адреса. Знали только, что куда-нибудь в Кострому или дальше: он был волжанин, «речной человек», как он говорил.

Тогда мне приходилось тесно. «Мальчики» мои, в сомнении, откровенно признавались, что не знают, как поступить. Розанов, не обращая на меня никакого внимания, лез к Ефиму, а Ефим разленивался, не читал первых корректур и спорил со мной из-за Брюсова, находя его недостаточно либеральным.

К счастью, Перцов уезжал не в очень горячее время, — к весне. Месяца через два возвращался, и все входило в норму.

12

Буду верен в любви

На ревнивых жен Розанову везло.

Ну, та, первая, подруга Достоевского, — вообще сумасшедшая старуха; ее и нельзя считать женой Розанова. Но настоящая, любящая и обожаемая «Варя», мать его детей, женщина скромная, благородная и простая, — тоже ревновала его ужасно.

Ревновать Розанова — безрассудство. Но чтобы понять это — надо было иметь на него особую точку зрения, не прилагать к нему обычных человеческих мерок.

Ко всем женщинам он, почти без различия, относился возбужденно-нежно, с любовным любопытством к их интимной жизни. У него жена — его жена, и она единственная, но эти другие — тоже чьи-то жены? И Розанов умилялся, восхищался тем, что и они жены. Имеющие детей, беременные, особенно радовали. Интересовали и девушки — будущие жены, любовницы, матери. Его влекли женщины и семейственные, — и кокетливые, все, наиболее полно живущие своей женской жизнью. В розановской интимности именно с женщиной был еще оттенок особой близости: мы, мол, оба, я и ты, знаем с тобой одну какую-то тайну. Розанов ведь чувствовал в себе сам много женского. «Бабьего», как он говорил³¹. (Раз выдумал, чтобы ему позволили подписываться в журнале «Елизавета Сладкая». И огорчился, что мы не позволили.)

Человеческое в женщине не занимало его. Ту, с которой не выходит этого особого, женского, интимничанья, он скоро переставал замечать. То есть начинал к ней относиться, как вообще

к окружающим. Если с интересом порою — то уже без специфического оттенка в интимности.

Смешно, конечно, утверждать, что это нежно-любопытное отношение к «женщине» было у Розанова только «идейным». Он входил в него весь, с плотью и кровью, как и в другое, что его действительно интересовало. Я не знаю и знать не хочу, случалось ли с ним то, что называют «грехом», фактической «изменой». Может быть, да, может быть, нет. Неинтересно, ибо это *ни малейшего значения не имеет*, раз дело идет о Розанове. И сам он слишком хорошо понимает, — ощущает свою органическую *верность*.

«Будь верен человеку, и Бог ничто не поставит тебе в неверность».

«Будь верен в дружбе и верен в любви: остальных заповедей можешь и не исполнять».

В самом деле, можно ли вообразить о Розанове, что он вдруг серьезно влюбляется в «другую» женщину, переживает домашнюю трагедию, решается развестись с «Варей», чтобы жениться на этой другой? О ком угодно — можно, о Розанове — непредставимо! И если все-таки вообразить — делается смешно, как если бы собака замурлыкала.

Собака не замурлычит, Розанов — не изменит. Он верен своей жене, как ни один муж на земле. Верен — «ноуменально».

Да, но жена-то этого не знает. Инстинктом любви своей, глубокой и обыкновенной, она не принимает розановского отношения к «женщине», к другим женщинам. У нее ложная точка зрения, но со своей точки зрения она права, ревнуя и страдая.

Розановская душа, вся пропитанная «жалением», не могла переносить чужого страдания. Единственно, что он считал и звал «грехом», — это причинять страдание.

«Хотел бы я быть только хорошим? Было бы скучно. Но чего я ни за что не хотел бы, — это быть злым, вредительным. Тут я предпочел бы умереть».

Что же ему делать, чтобы не видать страданий любимой жены? Измениться он не может, да и не желает, так как чувствует себя правым и невинным. Страданий этих не понимает (как вообще ревности не понимает, — никакой), но видит их и не хочет их. Что же делать?

И он, при ней, изо всех сил начинает ломать себя. Боится слово лишнее сказать, делается неестественным, приниженно глуповатым. Увы, не помогает. Во-первых, он, бедненький, не мог угадать, какое его слово или жест окажутся вдруг подозрительными. А во-вторых, ревновала его жена к духу самому, к неуловимому. В жесте ли, в слове ли дело? Не понимая, не уга-

дывая, что может ее огорчить, он даже самые невинные вещи, невинные посещения, понемногу стал скрывать от жены. На всякий случай, — а вдруг она огорчится? Чтобы она не страдала (этого он не может!), надо, чтобы она не знала. Вот и все.

В «секреты» розановские были, конечно, посвящены все. Он всем их доверял — вместе со своей нежностью к жене, трогательно умоляя не только не «выдавать» его, а еще, при случае, поддержать, прикрыть, «чтобы она была спокойна».

Он действительно заботился только о ее спокойствии. О себе — как бы, по неловкости, не «согрешить», т. е. не достаточно умело сорвать. Ведь, —

«...я был всегда ужасно неуклюжий. Во мне есть ужасное уродство поведения, до неумения “встать” и “сесть”. Просто не знаю, как. Никакого сознания горизонтов...»

Очень прямые люди нет-нет и возмутятся: «Василий Васильевич, да ведь это же обман, ложь!» Какое напрасное возмущение! Прописывайте вы человеческие законы ручью, ветру, закату. Не услышат и будут правы: у них свои.

«Даже и представить себе не могу такого “беззаконника”, как я сам. Идея закона, как “долга”, никогда даже на ум мне не приходила.

Только читал в словарях на букву Д. Но не знал, что это, и никогда не интересовался. “Долг выдумали жестокие люди, чтобы притеснить слабых. И только дурак ему повинуется”. Так, приблизительно...

Только всегда была у меня *Жалость*. И была благодарность.

Но это как “аппетит” мой; мой *вкус*.

Удивительно, как я уделялся *с ложью*. Она меня никогда не мучила...

Так меня устроил Бог».

«Устроил», и с Богом не поспоришь. Главное — бесполезно. Бесполезно упрекать Розанова во «лжи», в «безнравственности», в «легкомыслии». Это все *наши* понятия. Легкомыслie? —

«Я невестюсь перед всем миром: вот откуда постоянное *волнение*».

Дайте же ему «невеститься». Тем более, что не можете запретить. Наконец, в каком-нибудь смысле, может, оно и хорошо?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Душа озябла

Победоносцев посмотрел-посмотрел, да и запретил Р^Елиги-озно>- ф^Илософские собрания³².

«Отцы» уже давно тревожились. Никакого «слияния» интеллигентии с церковью не происходило, а только «светские» все чаще припирали их к стене, — одолевали. Выписан был на помощь (из Казани?) архимандрит Михаил³³, славившийся своей речистостью и знакомством со «светской» философией. Но Михаил — о ужас! — после двух собраний явно перешел на сторону «интеллигентии», и вместо помощника архиереи обрели в нем нового вопрошателя, а подчас обвинителя. (Дальнейшая судьба этого незаурядного человека любопытна. Продолжал острую борьбу против православной церкви и, под угрозой снятия сана, перешел в старообрядчество, где был епископом. Он возглавлял группу «голгофских христиан». В 1916 году умер в Москве, в больнице для чернорабочих.)

При таких обстоятельствах оставалось одно: закрыть, от греха, Собрания. Закрыли.

Вскоре подоспела японская война, а с ней медленное, еще глухое, но все нарастающее внутреннее брожение.

«Новый путь» продолжался, — очень трудно: без главного подспорья своего, — отчетов о Собраниях, под неистовством духовной цензуры, с растущими денежными затруднениями.

Перцов стал охладевать к делу и все чаще уезжать на Волгу. Розанов, понемногу, начал отходить тоже.

Дело в том, что группа главных участников журнала к тому времени не была уже сплочена. Расхождение — не в идее, а, пожалуй, в направлении воли.

Собственно идея (как и тема наших споров с церковью) была всегда одна: Бог и мир. Равноценность, в религии, духа и плоти. Можно себе представить, как это было близко сердцу Розанова. Однако, защищая «мир», он весь его стягивал к полу и личности. Другие же в понятие «мира» хотели вдвинуть и вопрос общественный.

Иногда Розанов, по гениальному наитию, мог изрекать вещи в это области очень верные, даже пророческие. Но не понимал тут ровно ничего, органически не мог понимать и отвращался.

«“Общественность”, кричат везде, “ побуждение общественного интереса!” »...

«... Когда я встречаю человека с “общественным интересом”, то не то, чтобы скучаю, не то, чтобы враждую с ним: но просто умираю около него».

«Весь смолкнул и растворился: ни ума, ни воли, ни слова, ни души.

Умер».

И далее:

«Народы, хотите ли, я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков...

— Ну? Ну?.. Хх...

— Это — что частная жизнь выше всего.

— Хе-хе-хе! Ха-ха-ха!

— Да, да! Никто этого не говорил, я — первый... Просто, сидеть дома и хотя бы ковырять в носу “и смотреть на закат солнца!”...

И “воля к мечте”... И “чудовищная” задумчивость...

— Что ты все думаешь о себе? — спрашивает жена. — Ты бы подумал о людях.

— Не хочется...»

Не хочется, — интереса нет. А что такое Розанов без внутреннего, его потрясающего, интереса? Ребячески путает и путается, если не случилось наития, бранится — и ускользает, убегает.

Перед революционными волнениями он уже льнет все больше к литературно-эстето-мистическим кружкам, которые, словно пузыри, стали вскакивать то здесь, то там. Заглядывает «в башню» Вяч. Иванова, когда там водят «хороводы» и поют вакхические песни, в хламидах и венках. Юркнул и на «радение» у Минского³⁴, где для чего-то кололи булавкой палец у скромной неизвестной женщины и каплю ее крови опускали в бокал с вином.

Ходил туда Розанов, конечно, в величайшем секрете от жены — тайком.

В редакции нашей показывался все реже. Воскресенья его — не помню, продолжались ли. Кажется, опустели на время. А когда события сделались более серьезными, Розанова точно отнесло от нас, на другую волну попал.

Мы виделись, кажется... Но мельком. Кто-то говорил, что самые острые дни он просидел у себя на Шпалерной. Не из трусости, конечно, — что ему? А просто было «неинтересно» или даже «отвращало». Может быть, занимался нумизматикой...

Впрочем, скоро опять появился и даже стал интересоваться тем, что происходит, — со своего боку. Полюбил митинги.

— Что вы там слушаете, Василий Васильевич?

— Что слушаю, ничего, я смотрю, как слушают. Какие удивительные есть, — курсистки. Глаза так и горят. И много преображенских.

В это время он написал брошюру «Когда начальство ушло», — такую же... даже не подберу выражения — *осознательную*, что ли, как все, что у него писалось-выговаривалось. Кроме этой «осознательности» стиля, ничего в ней не запомнилось. Но едва «начальство вернулось», — брошюра была запрещена³⁵.

Мы уже закончили наш журнал (в последнее полугодие сильно реформированный), передав его «идеалистам»: Булгакову,

Бердяеву и всему их кружку. В начале 1906 г. мы собирались надолго за границу.

Розанов этой последней зимой бывал у нас иногда, — нечасто. Интересно, что очень невзлюбил его Боря Бугаев (А. Белый. Он, приезжая из Москвы, жил у нас).

С трагически склоненными глазами, сдвинув брови, — ко мне:
— Послушайте, послушайте. Ведь Розанов — это *пло!* П-л-о!
— Что такое? Какое еще «пло»?

Оказывается, он ехал по Караванной и видел вывеску (фамилия, должно быть). Пло. И ему казалось, что если повторять страшным голосом: «Пло! Пло!» — то можно его представить себе похожим на Розанова, и даже так, что сам Розанов — П-Л-О³⁶.

Меня эта ассоциация не увлекла, но, зная обоих, можно было уловить, как Бугаев соединяет «Пло» с Розановым и почему «боится» их. Не всякая чепуха совершенно бессмысленна.

Расстались мы с Розановым по-дружески. Он даже обещал писать (очень любил писать письма). Но не писал... долго. И вдруг, чуть не через год, — письмо за письмом, в Париж.

Что такое?

Розановские письма, как всегда сверкающие, махровые, разговорные, — содержали на этот раз конкретную просьбу. Он умолял меня содействовать возвращению его писем к одной «литературной» даме, муж которой только что, после 1905 года, эмигрировал (притом довольно глупо и напрасно). Розанов знал, что чета находится в Париже. Коварная дама будто бы не делала ни для кого секрета из этих писем, компрометантных лишь для Розанова (уж, конечно, компрометантных, и, конечно, блестящих — ведь это были по-розановски интимные письма к женщине, да еще кокетливой, да еще еврейке!)³⁷.

В мольбах Розанова слышалось отчаяние. Понять, зачем ему так понадобились эти письма, — было нетрудно. А так как мы знали, что жена Розанова тяжело больна (говорили, что у нее нервный удар), то объяснялось и отчаяние. Он боялся, нестерпимо мучаясь, что о письмах может узнать Варвара Дмитриевна.

Чувство его к жене, какая-то гомерическая смесь любви и жалости, делается в этот период трагичным. В него вливается «осознательное» ощущение — смерти.

Не то, чтобы Розанов изменился. Ощущение смерти не ново для него. Всегда в нем жило «но — не думал», а тут оно выплыло из глубин наверх, расширилось, покрыло все другие ощущения (да и навсегда окрасило, не уменьшив их силы, в свой цвет).

«Я говорил о браке, браке, браке... а ко мне все шла смерть, смерть, смерть».

И еще:

«Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти и ужасаюсь...»

Наконец:

«Смерти я совершенно не могу перенести...»

«Я так относился к ней, как бы никто и ничто не должен был умереть. Как бы смерти не было».

«Самое обыкновенное, самое “всегда”: я этого не видел».

«Конечно, я ее видел: но значит я не смотрел... Не значит ли это, что и не любил?»

«Вот дурной человек во мне, дурной и страшный». В этот момент, как я ненавижу себя, “как враждебен себе”».

У Розанова нет «мыслей», того, что мы привыкли называть «мыслию». Каждая в нем — непременно и пронзительное *физическое ощущение*. К «рассуждениям» он поэтому неспособен, что и сам знает:

«Я только смеюсь и плачу. Рассуждаю ли я в собственном смысле? Никогда!»

Смерть для него была физическим «холодом» (как жизнь, любовь-жалость, — греющим, светящим огнем).

«Больше любви, больше любви, дайте любви! Я задыхаюсь в холодах. У, как везде холодно!»

И когда он говорит: «Душа озябла. Страшно, когда наступает озноб души», — это не метафора, не образ, — где его «душа», где тело? — но опять *физическое*, телесное ощущение *холода*, — ощущение смерти.

Писем, о которых он так умолял, мы ему не достали. Мы знакомы были с мужем розановской мучительницы. К мужу и обратились с ходатайством. Он предупредил нас, что надежды мало. И действительно. Не отдала. Не захотела.

Я не думаю, чтобы из этого вышла большая беда. Бряд ли до большой женщины могли дойти слухи об этой, в сущности, невинной истории. А если бы и дошли? Она, вероятно, уже не приняла бы это так, как опасался Розанов.

А все же, в то время, очень мне было Розанова жалко.

«Никакой человек не достоин похвалы; всякий человек достоин только жалости», —

есть ли смысл хвалить (или порицать) Розанова? Есть ли хоть интерес? Ни малейшего. Важно одно: понять, проследить, определить Розанова, как редчайшее явление, собственным законам подвластное и живущее в среде людской. Понять ценность этого говорящего явления, т. е. понять, что оно, такое как есть, может дать нам, или что можем мы от него взять. Но непременно такое, как есть.

«Иду! Иду! Иду! Иду!..

И не интересуюсь. Что-то стихийное, а не человеческое. Скорее “несет”, а не иду. Ноги волочатся. И срывает меня с каждого места, где стоял».

Где уж тут «человеческое»!

Надо, однако, сознаться, что понять это чрезвычайно трудно. Так трудно, что и мы, знавшие его, мгновениями видевшие, что он не идет в ряду других людей, а «несет» его около них, — и мы забывали это, слепли, начинали считаться с ним, как с обычным человеком.

Может быть, и нельзя иначе — нельзя было иначе тогда. Ведь все-таки он имел вид обыкновенного человека, ходил на двух ногах, носил галстук и серые брюки, имел детей, дар слова... и какой дар! Может быть, потому, что он, с этим даром, не ограниченный никакими человеческими законами, жил *среди нас*, где эти законы действуют, мы даже права не имели не охранять их от него? Всякое человеческое общество — монастырь. Для Розанова — чужой монастырь (всякое!). Он в него пришел... со своим уставом. Может ли монастырь позволить одному-единственному монаху жить по его собственному уставу? «Оставьте меня в покое». «Да, но и ты оставь нас в покое, уходи».

«Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали», — говорит Розанов и начинает писать двумя руками: в «Новом времени» одно, — в «Русском слове», под прозрачным и не скрывающим псевдонимом, другое.

Обеими руками он пишет искренне (как всегда), от всей махровой души своей.

Он прав.

Но совершенно прав и П. Б. Струве, печатая в «Русской мысли», рядом, параллельные (полярные) статьи Розанова и обвиняя его в «двурушничестве»³⁸.

Однако я забегаю вперед.

Возвратясь в Петербург, мы нашли Розанова с виду совершенно таким же, каким оставили. Таким же суеверным, интим-

ничающим, полушепотным говорком болтающим то о важном, то о мелочах. Лишь приглядываясь, можно было заметить, что он еще больше размахровился, все в нем торчит во все стороны, противоречия еще подчеркнулись.

Впрочем, особенно приглядываться не было случая: Розанова мы стали видеть не часто. Вышло это само собою. С ним и вообще-то никогда ничего нельзя было *вместе делать*, а тут почувствовалось, что и нечего делать.

В Петербурге же, после «половинной» революции, многие вообразили, что можно что-то «делать», — во всяком случае тянулись к активности.

О Розанове ходило тогда много слухов, вернее — сплетен, о разных его прошлых «винах», которыми мы не интересовались. Да и мало верили: жена все еще была сильно больна, и в Розанове, хотя он об этом не говорил, очень чувствовалась боль смертная и забота.

Раз как-то забежал к нам летом, по дороге на вокзал (жил тогда на даче, в Луге, кажется).

Торопливый, с пакетами, в коричневой крылатке. Но хоть и спешил — остался, разговорился. Так, в крылатке, и бегал нервно по комнате, блестя очками.

Разговор был, конечно, о религии, и опять о христианстве. Отношение к нему у Розанова показалось мне мало по существу изменившимся. Те же упреки, что христианство не хочет знать мира с его теплотой и любовью, не приемлет семью и т. д. Потом вдруг:

— Вы ведь «апокалиптические» христиане... А какое же там, в Откровении, христианство? Я Откровение принимаю... Я даже четвертое Евангелие, всего Иоанна, готов принять. Только не синоптиков. Давайте откажитесь от синоптиков³⁹, — будем вместе...

Мы, конечно, от синоптиков не отказались, но в эту минуту кто-то принес показать Розанову наших маленьких щенков, шестинедельных младенцев-таксиков, — и на них тотчас обратилось все его внимание.

— Вот бы детям... Ах, Боже мой... Вот бы детям свезти...

— Да возмите, Василий Васильевич, выберите какого лучше и тащите с собой на дачу.

— Ах, Господи... Нет, я не смею. Дома еще спросят: что? откуда? Нет, не смею. А хорошо бы...

Мы вспомнили, что для Розанова и наш дом был всегда «запрещенным»: жена считала его «декадентским», где, будто бы, Василия Васильевича... отвращают от православия.

— Скажите, что на улице нашли, — продолжаю я убеждать Розанова насчет щенка.

— Не поверят... Нет, не смею...

Так и ушел, не взял.

3

Какие «да»! Какие «нет»!

Мы застали в Петербурге, как бы на месте старых Религиозно-философских собраний, целое Религиозно-философское общество, легализированное и многолюдное.

Ничего похожего на прежние, полуподпольные, острые Собрания. Председатель — Карташев, выходец «из-за железного церковного занавеса», но выходец окончательный: еще до нашего отъезда мы его убедили (с большими трудами, точно предлагали броситься в холодную воду) — покинуть Духовную Академию. Он решился, наконец (тем более, что положение его было уже там непрочно) и, вместе с несколькими другими, выплыл в житейское море.

Волны этого моря не оказались коварными для него: он устроился в Публичной библиотеке, а затем стал преподавателем богословия на Женских курсах. Печать некоторой постоянной «боязни», вечное оглядыванье, еще отличала в нем человека из «иного мира». Но понемногу он приучался к «светской» свободе.

Религиозно-философское общество, где его выбрали председателем, было, в сущности, одним из обыкновенных интеллигентских обществ. Только с некоторым привкусом «московского идеализма» (чуть уловимый крен к православию). Священники посещали его, но об архиереях, о черном духовенстве — и помину не было. Полное отсутствие так называемой «учащей церкви».

Мы, несмотря на чуждый нам уклон, вошли в совет Общества и, естественно, внесли туда мятежный дух, меняющий направление. Это, впрочем, делалось медленно и не без трудов.

Розанов в Совете не состоял⁴⁰. Он только, по памяти, был одним из первых действительных членов — или даже членом-учредителем, не помню. На заседания ходил, но никаких докладов не читал. Все было другое. По времени — острота лежала в чуждом Розанову вопросе: не о религиозном *поле*, а о религиозной *общественности*.

Годы мелькали, — последние, предвоенные. О них можно было много рассказать, но я пишу не о них, — о Розанове.

Мы его совсем больше не видели. Знали, что жена его плохо поправляется, что он давно не живет на Шпалерной, переезжает с квартиры на квартиру, что после смерти старика Суворина положение его в «Новом времени» не изменилось. Слышали, что он видится с новыми людьми, очень от нас далекими... а главное, слышали его самого в изданных в это время «Уединенном» и «Опавших листьях» («Два короба»).

Именно слышали его в этих трех... книгах? Он был прав, говоря, что таких «книг» никто раньше не писал и никто не напишет. Для этого надо уметь «выговаривать» себя, как он, а чтобы издать их — надо быть «беззаконником», не понимающим, «что ему современничают другие люди». Словом — надо быть в полноте «Розановым».

Для знативших его, как мы знали, — ничего нового в этих книгах не содержалось. То же, что он говорил, не раз, и та же интимность до... до полного душевного раздевания. Был он в них весь: с Богом и полом, с Россией, которую чувствовал изнутри, как самого себя, и любя, и ругая. С евреями, его притягивающими и отталкивающими. И даже с трагично выплывшим поверх других «ощущений» — ощущением смерти, холода.

Только все «да-нет», чем дальше, тем резче подчеркивались, все чудовищнее переплетались. Он сам останавливается удивленно: «Душа моя какая-то путаница...» И эта эволюция (если это эволюция) была в нем как будто еще не закончена.

Действительно: не предстояло ли ему безмерно обостриться в противоречиях, дойти до глубины страданий, «выговорить» их в предсмертных тетрадях своего «Апокалипсиса» и, наконец, в монастыре, в Троице-Сергиевской лавре, — умереть на руках самого, кажется, умного и жестокого священника — П. Ф.⁴¹?

4

Мне все можно

Об этом священнике кто-нибудь напишет в свое время. Мы знали его московским студентом-математиком (он писал в «Новом пути»). Потом встречали в Донском монастыре, у его духовника, мятежного и удивительного еп. Антония⁴². Но действительно, узнали и поняли через сестру его, Ольгу⁴³. Она любила его, ездила к нему в лавру, но никогда не была под его влиянием. Была близка нам, подолгу живала у нас. Эта замечательная женщина-девушка умерла перед войной, 22-х лет от роду.

Я не буду писать ни о ней, ни о брате: слишком удлинило бы это мой рассказ. Да и жизнь его еще не кончена. Думаю, силь-

ная личность его не пройдет без следа даже в наше смутное время.

Любил ли его Розанов? Уже в предвоенные годы знал его. Но упоминает о нем редко, вскользь: «Вся его натура какая-то ползучая...»

Они видятся, однако, все чаще. Ко времени «дела Бейлиса», так взволновавшего русскую интеллигенцию, Розанов, не без помощи Ф^{лоренского}, начинает выступать против евреев — в «Земщине». Статьи, которые отказывалось печатать даже «Новое время», — радостно хватались грязной, погромной газеткой.

Были ли эти статьи Розанова «погромными»? Конечно, нет, и, конечно, да. Не были, потому что Розанов никогда не переставал страстно, телесно, любить евреев, а Ф^{лоренский}, человек утонченной духовной культуры и громадных знаний, не мог стать «погромщиком». И, однако, эти статьи погромными были, фактически, в данный момент: Розанов в «Земщине», т. е. среди подлинных погромщиков, говорил, да еще со свойственным ему блеском, что еврей Бейлис не мог не убить мальчика Ющинского, что в религии еврейства заложено пролитие невинной крови, — жертва.

А Ф^{лоренский} сказал тогда сестре: если бы я не был православным священником, а евреем, я бы сам поступил, как Бейлис, т. е. пролил бы кровь Ющинского.

В это время к Розанову не только писательские круги, но и вообще интеллигенция относились уже довольно враждебно. Повторяю: какая «совместность» человеческая может терпеть человека-беззаконника, живущего среди людей и знать не желающего их неписанных, но твердых уставов? Нельзя «двурушничать», т. е. печатать одновременно разное в двух разных местах. Нельзя говорить, что плюешь на всякую мораль и не признаешь никакого долга. Нельзя делать «свинства» (по выражению самого Розанова), например — напечатать, в минуту полемической злости, письмо противника, адресованное к третьему лицу, чужое, случайно попавшее в руки. И нельзя, невозможно так выворачивать наизнанку себя, своих близких и далеких, так раздеваться всенародно и раздевать других, как Розанов это делает в последних книгах.

«— Нельзя? — говорит Розанов. — Мне — можно. На мне и грязь хороша, потому что я — это я.

— А вы все — к черту!..»

Он прав, что *ему* — *можно*. Но «все» — люди, посылаемые к черту, — правы тоже, знать не желая, почему «Розанову можно», и отвечая ему таким же «к черту».

Всенародное самовыворачивание Розанова, хотя и оскорбляло многих, было еще терпимо: уединенный человек, говорит из своего уединения. Но статьи в «Земщине», такие, в такой момент, — делали Розанова «вредительным» общественно (чего он, конечно, не понимал). От него уже надо было — общественно — защищаться.

Такой защитой было, между прочим, и публичное исключение его из числа членов Религиозно-философского общества.

Если я останавливаюсь на этом инциденте (незначительном, в конце концов), то лишь для того, чтобы попутно отметить: были и в то время два-три человека, смотревшие на Розанова с глубоко правильной точки зрения. Они утверждали его, как явление исключительной ценности, понимали, что ему-то, от себя, «все позволено», что он живет по своим законам. Ни один из этих людей никогда лично не рассердился на Розанова, хотя поводов для раздражения было сколько угодно.

Но эти же люди особенно твердо стояли за необходимость «защиты» от Розанова, в данном случае — за необходимость исключения его из членов Общества.

Хочу сознаться, увы, что на мой тогдашний взгляд Розанов был еще слишком «человек», и предельная безответственность его, как человека, мне была нестерпима. Сколько несправедливых слов было сказано, несправедливых и бесцельных, — как я о них теперь жалею.

5

Мелькнули дни...

После «дела Бейлиса», статей в «Земщине» и всех попутных историй — Розанов совсем скрывается, с нашего, по крайней мере, горизонта. А вначале бравировал, писал в «Новом времени» самые непозволительные ругательные статейки против «интеллигенции», приходил на каждое Р_{<елигиозно>}-ф_{<илософское>} собрание, чуть ли не до последнего, на котором его торжественно исключили⁴⁵. Кто-то сказал, что «гонение» на Розанова жестоко. Это неправда. Никакой жестокости в этих протестах, исключениях, не было: ведь его «наплевать» — слово очень искреннее. Если и огорчался «скандалами» — то опять, кажется, боясь, не расстроили бы они его больную жену.

А вскоре и Бейлис, и Розанов — все было забыто: пришла война.

Что писал и делал Розанов во времена войны?

Писал, конечно, в «Новом времени», — неинтересно. Думаю, что сидел тихо у себя, — жена все еще болела. Одна из дочерей его, как мы слышали, готовилась поступить в монастырь (мне неизвестна эта драма, — вернее, трагедия, — в подробностях. Знаю только, что дочь Розанова, монахиня, покончила самоубийством незадолго до смерти отца⁴⁶).

Может быть, Розанов, в военные годы, работал и над книгой о Египте (осталась незаконченной)⁴⁷. Он готовил ее очень давно. Еще во дни наших постоянных встреч увидел раз у меня на столе большого скарабея (приятельница англичанка привезла из Египта). Пришел в страстный восторг.

— Подарите мне! Мне очень нужно. Вам на что? А я книгу об Египте напишу. У меня и все монеты — египетские. В Египте то было, чего уже не будет: христианство задушило.

Очень радовался подарку и унес, завернув в носовой платок.

В военные годы, еще до революции, Розанов начал и свой «Апокалипсис»⁴⁸. Выпускал его периодически, небольшими тетрадями. Мне помнится там рассказ — встреча Розанова с войсками на Захарьевской улице⁴⁹. Опять передал свое телесное ощущение: движется внешняя сила, только голая сила, тяжелая, грубая, «мужская». Перед ней Розанов, маленькая одиночка, прижавшаяся на тротуаре к дому, — чувствует себя воплощенной слабостью, «женщиной»...

Вот опять мелькнули годы — мгновения. Как вспыхнувшая зарница — радость революции. И сейчас же тьма, грохот, кровь и — последнее молчание.

Тогда время остановилось. И мы стали «мертвыми костями, на которые идет снег».

Наступил восемнадцатый год.

6

Ледяные воды

Сначала еще видались кое с кем.

— Вы не знаете ли, что Розанов?

— Он в очень тяжелом положении. Был здесь, в Петербурге. Потом уехал, с семьей, — или кто-то увез его. Семья живет под Москвой, в Троице-Сергиевском посаде. Стал, говорят, странный и больной. Такой нищий, что на вокзале собирает окурки...

— Их, вероятно, Ф^{лоренский} в лавре устроил?

— Кажется. Но живут очень плохо. Варвара Дмитриевна все больна, почти не ходит... И вы знаете, сын их умер.

— Как? Вася умер?

У Розанова было четыре дочери и единственный сын, Вася.

— Да, умер. Его взяли в Красную армию...

Перебиваю:

— Да ведь ему лет пятнадцать-шестнадцать?

— Ну, набирают теперь молодежь, даже четырнадцатилетних. Отправили куда-то далеко, к Польше. Да он не доехал. Заразился в поезде сыпным тифом и умер⁵⁰. С тех пор и Василий Васильевич нездоров. Впрочем, истощен тоже очень. «Апокалипсис» его до последнего времени выходил. Теперь — не знаю. Думаю, и в продаже его уже нет. Все ведь книги запрещены.

Окурки собирает... Болеет... Странный стал... Жена почти не встает... И Вася, сын, умер...

Не удивляло. Ничто, прежде ужасное, не удивляло: *теперь* казалось естественным. У всех, кажется, все умерли. Все, кажется, подбирают окурки...

Удивляло, что кто-то не арестован, кто-то жив.

Мысли и ощущения тогда сплетались вместе. Такое было странное, непередаваемое время. Оно как будто не двигалось: однообразие, неразличимость дней, — от этого скука потрясающая. Кто не видал революции — тот не знает настоящей скуки. Тягучее удушье.

И было три главных телесных ощущения: *голода* (скорее всего привыкаешь), *темноты* (хуже гораздо) и *холода* (почти невозможно привыкнуть).

В этом длительно-разнообразном тройном страдании — цепь вестей о смертях, арестах и расстрелах разных людей.

И Меньшикова расстреляли⁵¹.

— За «Новое время». Он в Волочек уехал. Нашли. Очень хорошо, мужественно умер. С семьей не дали проститься.

— Вот как.

— Да, говорят, и Розанова расстреляли⁵². Тоже за «Новое время», очевидно. Это слух.

— И Розанова?

— А В. опять в Чека увезли. Вчера. Напишите Горькому. Вы ему еще не писали. Напишите вы теперь.

— Я?

Мне донельзя противно писать Горькому. Но, действительно, ему все уже писали, все к нему приставали, кроме меня. И В. очень жалко. Да и силы сопротивления у меня нет. Конечно, Горький меня не послушает. Дочь этой самой несчастной и невинной больной В., которую уже в пятый раз волокут в Чека, целую ночь просидела у него на лестнице, ожидая приема. Не принял. Что же я?

Однако вяло беру бумагу. «Дорогой...», «Уважаемый...»? Не поднимается рука. Просто: «Алексей Максимович...»

Пишу обыкновенные, вопиющие вещи. И прибавляю: вы, вот, русский писатель. Одобряете ли вы действие дружественного вам «правительства» большевиков по отношению к замечательнейшему русскому писателю — Розанову, если верен слух, что его расстреляли? Не можете ли вы, по крайней мере, сообщить, верен ли слух? Мне известно лишь, что Розанов был доведен в последнее время до крайней степени нищеты. Голодный, к тому же больной, вряд ли мог он вредить вашей « власти ». Вы когда-то стояли за «культуру». Ценность Розанова, как писателя, вам, вероятно, известна. Думаю, что в ваших интересах было бы проверить слух...

Что-то в этом роде, кажется, резче. Не все ли равно? Что терять? Без того противно писать Горькому. И бесцельно⁵³.

К удивлению, вышло не совсем бесцельно. Двинул ли Горький пальцем насчет В. и Чека, не помню, но насчет Розанова как будто двинул. То есть поручил кому-то из своих приспешников исследовать слух о Розанове, и когда ему доложили, что Розанов не расстрелян, приказал прислать ему немного денег.

Мы узнали все это (Горький, конечно, мне не ответил) от друга и поклонника Розанова, молодого писателя Х.⁵⁴, к нам пришедшего. Этот Х. умудрялся в то время держать еще фуксом книжную лавочку, продавал старые брошюрки, даже новенькие безобидные выпускал, вроде сборников, где печатал и последний розановский «Апокалипсис».

Х., оказывается, давно уже пытался сделать что-нибудь для Розанова и был в сношениях с лаврой. Имел известия, что деньги от Горького действительно посланы. Надеялся добыть еще и свезти их Розанов сам: ему написали, что Розанов уже не «истощен» и «нездоров», но отчаянно, по-видимому, смертельно, болен.

— Было кровоизлияние, немного оправился — второе. Лежит недвижимо, но в полном сознании. Питать его нечем, лекарств никаких.

Х. принес нам и последние страницы «Апокалипсиса».

Опять весь Розанов в них, весь целиком: его голос, его говор, и наше время страшное, о котором у нас слов не было, — у него были. Тьма, голод и *холод* — смерть.

«Это ужасное замерзание ночью. Страшные мысли приходят. Есть что-то враждебное в стихии “холода” — организму человеческому, как организму “теплокровному”. Он боится холода и как-то *душевно боится*, а не можно, не мускульно. Душа его становится грубою, жесткою, как “гусиная кожа на холоду”...»

Вот он снова, его страх перед *холодом*. И как страшно холод настигал его. Настиг внешний, как всех нас тогда, еще перед болезнью. Схватил и внутренний, в болезни. И уже не выпустил из челюстей, пока не сожрал, — в смерти.

А защищаться было нечем. «Топлива» для организма, еды — не было.

«Впечатления еды теперь главные. И я заметил, что, к позору, все это равно замечают. И уже не стыдится бедный человек, и уже не стыдится горький человек...»

Он писал это еще до болезни, еще на ногах (когда, вероятно, окурки на вокзале Ярославском собирали). Один из выпусков «Апокалипсиса», после блестящих и глубоких страниц, кончается:

«Устал. Не могу. 2–3 горсти муки, 2–3 горсти крупы, пять круто испеченных яиц — может часто спасти день мой...»

Но день его не был спасен. Случайная подачка «собрата» Горького опоздала.

Скоро, через X. (а может быть, и нет), пришло к нам первое письмо Розанова, уже больного, — написанное рукой дочери, действительно «выговоренное» (его рука была недвижна).

Первое, потом второе, потом третье... Как я больно жалею, что их нет у меня. Они, конечно, не исчезли совсем, навсегда. Любящая дочь, верно, сохранила копии. Кое-что из них посыпалось и другим, я думаю — вот о «холоде» его предсмертном потрясающие слова: они были даже не так давно напечатаны в какой-то заграничной газете⁵⁵. Наверное, писал он Горькому (и наверное, Горький письма сохранил, ведь *его* собственность всегда была не-прикосновенна). «Спасибо Максимушке», ласково и радостно писал и нам Розанов, этот «бедный человек, горький человек». Все благодарили его за подачку: на картошку какую-то хватило.

Сознавал ли, что умирает? «Очень мне плохо: склероз в сильнейшей степени...» Потом вдруг шутил, и говорил, что долго еще нужно лежать, шесть месяцев, что поправление идет медленно. И тут же об этом страшном «ледяном озере», куда он постепенно опускается, так, что ноги — уже там и уже как бы не его, и с ног холодная, ледяная вода все поднимается выше... Но — как передать? — ни в одной, самой страшной строке, — не было «нытья», и даже почти жалобы не было, а детская разве жалостность.

«Никогда мы так вкусно не ели: картошка жареная, хлебца кусочек, и так хорошо».

Но потом вдруг:

«Пирожка бы... Творожка бы...»

О дочерях писал, какие они, как за ним ухаживают:

«На руки меня берет с постели, как ребенка, и на другую кровать, рядом, перекладывает, пока ту поправляют. Говорит, что я легкий стал, одни кости. Да ведь и кости весят что-нибудь...»

О жене — кажется, ни разу, ни слова. Он и раньше о ней не говорил в письмах. Мы, впрочем, знали, что она всегда при нем, тоже полунедвижимая, и что он вечно думает о куске — для нее.

Эти письма, писанные дочерью, до такой степени *сам* Розанов, что странно было видеть чужой почерк. Розанов в расцвете своих душевных сил? Нет, просто он, в том самом расцвете, в каком был всегда, единственный, неоценимый, неизменяемый. Одно разве: в предпоследние годы его бесчисленные мыслеощущения, его «да-нет», с главным, поверх выплывшим ощущением «холода — смерти», — были уже так заострены, что куда же дальше? И однако они еще обострились, отточились, дошли до колющей тонкости, силы и яркости.

Ледяные воды поднимались к сердцу.

7

Слова любви

— Розанов нашел приют в Троице-Сергиевской лавре в тяжелую минуту. Очень хорош с Ф~~<лоренским>~~, который его не покидает. Семья такая православная. Да, вот он и пришел к христианству.

Так стали говорить о нем. И рассуждали, и доказывали.

— Ведь это еще с тех пор началось, его коренная перемена, со статей против евреев. Какой был юдофил. А вот — дружба с Ф~~<лоренским>~~ и, параллельно, отход от евреев, обращение к христианству, к православию, переезд в лавру...

Это говорили люди, судя Розанова по-своему, — во времени. И было, с их точки зрения, правильно, и было *похоже* на правду.

А что — на самом деле? Посмотрим.

«Услуги еврейские, как гвозди в руки мои, ласковость еврейская, как пламя обжигает меня».

«Ибо, пользуясь этими услугами, погибнет народ мой, ибо обвеянный этой ласковостью задохнется и скниет мой народ».

Не написано ли это уже во время «поворота», уже под влиянием Ф~~лоренского~~, не в лавре ли? О, нет! До войны, до Ф~~лоренского~~, в самый разгар того, что звали розановским безмерным «юдофильством». В лавре же, в последние месяцы, вот что писалось-выговаривалось:

«Евреи — самый утонченный народ в Европе...» «Все европейское как-то необыкновенно грубо, жестко, сравнительно с еврейским...» «И везде они несут благородную и святую идею “греха” (я плачу), без которой нет религии... Они. Они. Они утерли сопли пресловутому человечеству и всунули ему в руки молитвенник: на, болван, помолись. Дали псалмы. И чудная Дева — из евреек. Что бы мы были, какая дичь в Европе, если бы не евреи». «Социализм? Но ведь социализм выражает мысль о “братстве народов” и “братстве людей”, и они в него уперлись...»

Переменился Розанов? Забыл свое влюбленное притягивание к евреям под «влиянием» Ф~~лоренского~~? Это — о евреях. Ну, а христианство? Православие? Кто Розанов теперь? Что он пишет *теперь*, в лавре?

«Ужас, о котором еще не догадываются, больше, чем он есть: что не грудь человеческая сгноила христианство, а что христианство сгноило грудь человеческую». «Попробуйте распять Солнце, и вы увидите, который Бог». «Солнце больше может, чем Христос, и больше Христа желает счастья человечеству...»

Что же это такое? Что скажем?

Ничего. Розанов верен себе до конца. Он верен и любви своей ко Христу. Тайной, но чем глубже «долина смертной тени», тем чаще молнии прорывов любви. Вот один из этих прорывов, за шесть лет до смерти:

«...все ветхозаветное прошло, и настал Новый Завет».

«Впервые забрезжило в уме. Если Он — Утешитель, то как хочу я утешения. И тогда Он — Бог мой. Неужели?

Какая-то радость. Но еще не смею. Неужели мне не бояться того, чего я с таким смертельным ужасом боюсь. Неужели думать: встретимся! Воскреснем! И вот Он — Бог наш! И все — объяснится.

Угрюмая душа моя впервые становится на эту точку зрения.

О, как она угрюма была, моя душа...

Ужасно странно.

Т. е. ужасное было, а странное наступает.

Господи: неужели это Ты. Приходишь в ночи, когда душа так скорбела...»

И ничего, совсем ничего, что потом, из монастыря, почти на одре смерти, пишет: «Христианство сгноило грудь человеческую». Он тут же возвращается:

«Душа восстанет из гроба... и переживет, каждая душа переживет, и грешная, и безгрешная, свою невыразимую “песнь песней”. Будет дано каждому человеку по душе этого человека и по желанию этого человека. Аминь».

Всегда возвращается, всегда — он, до конца — он, нашими законами не судимый, им неподклонный.

Вот почему ненужны, узки размысления наши о том, стал или не стал Розанов «христианином» перед смертью, в чем изменился, что отверг, что принял⁵⁶.

Звонок по телефону:

— Розанов умер.

Да, умер. Ничего не отверг, ничего не принял, ничему не изменил. Ледяные воды дошли до сердца, и он умер. Погасло явление.

Вот почему показалось нам горьким мучительное, длинное письмо дочери, подробно описывающее его кончину, его последние, уже безмолвные, дни. Кончину «христианскую», самую «православную», на руках Ф^{<лоренского>}, под шапочкой Преподобного Сергия.

Что могла шапочка изменить, да и зачем ей было изменять Розанова? Он — «узел, Богом связанный», пусть его Бог и развязывает.

Христианин или не христианин, — что мы знаем? Но, верю, и тогда, когда он лежал совсем безмолвный, безгласный, опять в уме вспыхнули слова любви:

Господи, неужели Ты не велишь бояться смерти?

Неужели умрем, и ничего?

Господи, неужели это — Ты.

1923

